



Марго Роланда

*О чем ты
говоришь?*

Марго Ромашка
О чем ты говоришь?

«Автор»

2026

Ромашка М.

О чем ты говоришь? / М. Ромашка — «Автор», 2026

"Я... я ничего не помню!" Екатерина – успешный московский нотариус, мать восьмимесячной дочери и жена человека, с которым прожила несколько лет. Но всего этого она не помнит. После автомобильной аварии Катя просыпается в больничной палате с чистым сознанием и единственным, что уцелело в разрушенной памяти, – собственным именем. Муж Григорий, высокий брюнет с усталыми серыми глазами, для нее чужой человек. Дочь Машенька – незнакомый ребенок, которого нужно заново учиться любить. Квартира с недоделанным ремонтом, огромный рыжий кот и собственная профессия – все это предстоит открывать с нуля. Погружаясь в рутину забытой жизни, Катя находит нить, ведущую в прошлое: старое дело о наследстве, запутанные документы и клиент, который слишком торопится закрыть сделку... История о потерянной и возвращенной жизни, о мужестве быть уязвимым и о выборе, который мы делаем каждый день – быть теми, кого мы помним, или теми, кем становимся.

© Ромашка М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Проснись!	5
Глава 2. Ничего не помню!	7
Глава 3. Мой дорогой муж	11
Глава 4. Блокнот	14
Глава 5. Дом	19
Глава 6. Встреча	23
Глава 7. Детская смесь	27
Глава 8. Уборка	30
Глава 9. Эклеры	33
Конец ознакомительного фрагмента.	36

О чем ты говоришь?

Глава 1. Проснись!

Боль проявилась не сразу. Сперва было только ощущение рывка – резкого, беспощадного, словно некто огромный и равнодушный дернул ее за грудную клетку вперед, а мир вокруг превратился в смазанный акварельный след. Потом пришла глубокая тишина, в которой не было ни снов, ни мыслей, ни времени. И лишь затем, пробивая эту толщу небытия, начало проступать страдание, разлитое по всему телу, будто каждая клеточка, каждый нервный узел оживали отдельно от других и каждый кричал о своем горе.

Катя застонала прежде, чем осознала, что этот сиплый, чужой звук принадлежит ей. Свет ударил в глаза даже сквозь закрытые веки – острый, агрессивный свет медицинских ламп. Она попыталась поднять руку, чтобы заслониться, но рука не послушалась, лишь слабо дернулась на простыне. Тогда Катя медленно, экономя силы, разлепила ресницы. Потолок. Белый, с тонкой продольной трещиной, уходящей в угол.

«Где я?»

Мысль всплыла откуда-то из глубины, но стоило за нее ухватиться, как следом накатила новая волна боли – на этот раз в висках. Катя поморщилась и повернула голову, преодолевая сопротивление собственного тела. Движение далось тяжело, шею словно сковали тугим резиновым жгутом.

Она лежала на больничной койке, укрытая до груди тонким одеялом. Рядом, на металлической стойке, мерцал голубоватым экраном монитор, от которого к ее руке тянулись провода с прищепкой на пальце. Капельница. Прозрачный пакет с раствором, трубка, уходящая под пластырь на сгибе локтя. У стены, напротив кровати, стоял стул, а на нем – чужая, незнакомая одежда, аккуратно сложенная в пластиковом пакете.

– Очнулась?

Голос раздался справа, и Катя вздрогнула. Рядом с койкой стояла медсестра – женщина лет тридцати пяти, коренастая, с темными волосами, собранными в тугий узел под белой шапочкой, и усталым, но цепким взглядом. Бейджик на груди гласил: «Варвара Сергеевна Комар, процедурный кабинет». Она деловито поправила трубку капельницы и склонилась к монитору, быстро, привычно пробежав глазами по показателям.

– Как самочувствие? – спросила она, не отрываясь от экрана. – Только честно.

Катя попыталась ответить, но из горла вырвался лишь хрип. Она сглотнула, ощущая сухость, точно в рот ей насыпали песка, и повторила попытку.

– Больно... Везде.

– Это нормально, – кивнула Варвара Сергеевна, и в голосе ее прозвучало не профессиональное равнодушие, а спокойная констатация факта. – Вы после серьезной аварии. Три дня почти без сознания. Сейчас давление померим.

Она взяла с тумбочки тонометр, ловкими движениями закрепила манжету на плече Кати. Та лежала неподвижно, пытаясь осмыслить сказанное. Авария. Три дня. Слова были понятными по отдельности, но в сознании не складывались ни в какую общую картину. Она попыталась вспомнить, что было до этого рывка, до боли, до света – и не смогла. Пустота. Гладкая, блестящая пустота, как поверхность мыльного пузыря, в которой отражается лишь это мгновение.

Манжета сдулась с тихим шипением.

– Давление низковато, но для вашего состояния терпимо, – констатировала медсестра, убирая прибор. – Сейчас я доктору сообщу, что вы пришли в себя. Он подойдет, осмотрит. Вы пока лежите спокойно, не дергайтесь.

– Подождите, – голос Кати все еще звучал слабо, но уже отчетливее. – Что случилось? Какая авария?

Варвара Сергеевна остановилась и внимательно посмотрела на пациентку. Она видела многое за двенадцать лет работы в травматологическом отделении: истерики, шок, агрессию, отстраненность. Но то, что читалось сейчас в серо-зеленых глазах этой светловолосой женщины с коротким каре, было иным.

– Вы не помните? – спросила она тихо.

– Я... – Катя нахмурилась, пытаясь уцепиться хоть за что-то. – Я не помню.

Внутри закипала паника. Она не знала, где находится, не знала, какой сейчас день недели, месяц, год. Она попыталась мысленно назвать свое имя – и лишь оно одно, к счастью, не затерялось в этой пустыне. Катя. Екатерина. Что-то еще? Фамилия? Отчество? Где она живет? Кто ее близкие? Ответов не было, лишь гулкое эхо вопросов в пустой черепной коробке.

Варвара Сергеевна не стала ничего говорить. Она вышла из палаты быстрым шагом, оставив Катю одну.

Глава 2. Ничего не помню!

Минуты тянулись бесконечно. Катя лежала, глядя в потолок с трещиной, и слушала бие- ние собственного сердца, которое монитор превращал в размеренный электронный писк. Она пыталась копаться в себе, как в темном чулане, нащупывая знакомые предметы – воспомина- ния, лица, образы. Но рука раз за разом проваливалась в пустоту.

«Почему я ничего не помню? Почему?»

Дверь открылась, и в палату вошел мужчина в белом халате. Высокий, сутуловатый, с ранней проседью в каштановых волосах и усталыми глазами за стеклами очков. Бейджик сооб- щал, что это Роман Ильич Гольдберг, лечащий врач.

– Доброе... – он бросил взгляд на часы, – уже почти утро, доброе утро. Екатерина, верно? Меня зовут Роман Ильич. Я ваш лечащий врач. Как вы себя чувствуете? Варвара Сергеевна сказала, вы жалуетесь на боль.

– Да, боль, – ответила Катя, стараясь говорить четко, хотя язык заплетался. – Я ничего не помню. Вообще ничего. Только имя. Катя. И все.

Доктор Гольдберг не изменился в лице. Он подошел ближе, взял с тумбочки небольшой фонарик и осветил Кате в глаза поочередно, следя за реакцией зрачков.

– Что именно вы не помните? – спросил он, пряча фонарик в карман. – День аварии? Последнюю неделю? Месяц?

– Я не знаю, – в голосе ее прорезалось отчаяние. – Я не помню, что было до того, как я проснулась здесь. Я не помню, где я живу. Не помню, кто я такая.

Она хотела добавить «не помню, есть ли у меня семья», но слова застряли в горле. Потому что сама мысль об этом была чудовищной.

– Ретроградная амнезия, – произнес доктор, и в его тоне не было удивления. – Характер- ная картина для черепно-мозговой травмы такой степени. При ударе, который вы пережили, это не редкость. Ваш мозг пережил сильное сотрясение, плюс ушиб лобной и височной долей. Мы наблюдали отек, сейчас он спадает. То, что память не вернулась сразу, не означает, что она не вернется вообще. Часто воспоминания начинают возвращаться постепенно, фрагментарно. Иногда резко, при определенных триггерах. Вам нужно набраться терпения.

– Но если она не вернется? – Катя вцепилась пальцами в край одеяла. – Если я так и не вспомню?

– Мы сделаем все возможное, – ответил Гольдберг спокойно и твердо. – Завтра вас осмот- рит невролог, проведем дополнительное МРТ, оценим динамику. Пока же главная задача – покой, сон и время. Мозгу нужно восстановиться. И еще кое-что.

Он сделал паузу, заглядывая ей в глаза.

– С вами хочет увидеться муж. Он был здесь каждый день. Мы не пускали его в реанимацию, но сегодня вас перевели в общую палату. Он ждет в коридоре. Уже несколько часов.

Муж. Слово упало в сознание, словно камень в темную воду, и круги пошли в разные стороны, но дна не достигали. У нее есть муж. Где-то там, за дверью, находится человек, который знает ее, который делит с ней жизнь, дом, возможно, постель. А она не знает о нем ничего. Даже лица.

«Муж», – мысленно повторила Катя, пытаясь вызвать хоть какой-то отклик, хоть тень узнавания. Ничего. Только холодок страха где-то под ложечкой.

Она представила, как в палату войдет незнакомец, бросится к ней, будет говорить о чем-то сокровенном, важном, а она будет смотреть на него пустым взглядом. Словно на чужака. Потому что он и есть чужак. И что тогда? Что она ему скажет? «Здравствуйте, я ваша жена, но, простите, вас не помню»?

– Я не знаю, – прошептала она. – Я не готова.

– Это естественно, – кивнул доктор. – Но, Екатерина, поймите: близкие люди, знакомые предметы, родные голоса – они часто становятся тем самым триггером, который запускает процесс восстановления памяти. Супруг может рассказать вам о вашей жизни, показать фотографии. Это способно помочь. Я настаиваю, решение за вами. Но подумайте.

Он направился к двери, но на пороге задержался.

– Я пока попрошу Варвару Сергеевну принести вам легкий завтрак. И, пожалуй, стоит умыться. Я распоряжусь.

Дверь закрылась.

Катя осталась одна. Тишина в палате теперь казалась не пустой, а наполненной до краев: присутствием человека за стеной, ожиданием, невысказанными вопросами. Она прислушалась к себе, силясь уловить хоть отзвук эмоций при мысли о том, что где-то рядом ждет мужчина, которого она любила – ведь наверняка любила, если вышла за него замуж? Но внутри было тихо, как в доме, из которого ушли все жильцы, оставив мебель, посуду и запертые шкафы.

«Что я за человек? – подумала она, разглядывая свои бледные пальцы на одеяле. – Что я любила? О чем мечтала? На кого злилась? Кого ждала?»

Медсестра Варвара Сергеевна вернулась с подносом: жидкий чай, манная каша, кусочек подсушенного хлеба.

– Помочь вам есть? – спросила она, ставя поднос на передвижной столик.

– Да, пожалуйста.

Сильными, привыкшими к манипуляциям с пациентами руками медсестра приподняла ее, поправила подушки под спиной, подвинула столик. Катя взяла ложку и поглядела на кашу без всякого аппетита.

– Варвара Сергеевна, – тихо позвала она.

– Да?

– Этот мужчина... мой муж. Он... какой он?

Медсестра задумалась на мгновение, поджав губы.

– Высокий, брюнет. Видно, что волнуется. Он в коридоре сейчас ходит – я думала, пол протрет. Часами сидел под дверью, пока вы в реанимации были. Глаза серые, щетина. И голос такой... ну, нервный. Но это понятно, у него жена в больнице.

Серые глаза. Высокий брюнет. Ничего не шевельнулось в памяти.

– А я? – спросила Катя сбивчиво. – Я какая?

Варвара Сергеевна посмотрела на нее долгим взглядом, в котором смешались профессиональная сдержанность и человеческое сочувствие.

– Какая вы? – она вздохнула и покачала головой. – Вот этого я вам не скажу. Не потому что не хочу, а потому что знать не могу. Я вас три дня наблюдаю без сознания. А какой вы были до аварии – это вам муж расскажет. Или вы сама вспомните. Ешьте давайте, остынет.

Она вышла. Катя медленно поднесла ложку ко рту, проглотила безвкусную теплую массу, запила чаем. Мысль работала лихорадочно. Муж ждет. Он знает ее. Он расскажет. От этой мысли становилось и легче, и страшнее одновременно. Как в детстве, когда готовишься войти в темную комнату, зная, что там может прятаться что угодно – как чудовище, так и подарок.

«Я должна его увидеть. Это же муж. Он имеет право знать, что я очнулась. И я имею право знать, кто я такая».

Она доела кашу, отставила поднос и крикнула в сторону двери настолько громко, насколько позволяли силы:

– Варвара Сергеевна!

Медсестра появилась почти мгновенно.

– Что такое? Плохо?

– Нет. Позовите его. Пусть войдет.

Варвара Сергеевна кивнула, не выказав ни удивления, ни одобрения – просто приняла к сведению.

– Хорошо.

Она вышла, и Катя осталась ждать. Сердце колотилось в груди с такой силой, что монитор участил сигналы. Она смотрела на дверь, пытаясь представить, кто сейчас войдет, пытаясь подготовиться, но как подготовиться к встрече с собственной жизнью, которой ты не помнишь?

За дверью слышались тяжелые, быстрые шаги. Мужская рука легла на дверную ручку. Скрипнул механизм, и дверь начала открываться.

Глава 3. Мой дорогой муж

Дверь открылась, и на пороге возник мужчина. Катя смотрела на него и не чувствовала ничего – ни облегчения, ни радости, ни узнавания. Только холодное, отстраненное любопытство, с каким разглядывают незнакомца в метро: лицо, одежда, поза. Высокий, действительно высокий, чуть сутуловатый, будто он привык наклоняться, проходя в низкие проемы. Черные волосы, густые и слегка взлохмаченные, точно он много раз проводил по ним пятерней. Темная щетина на щеках и подбородке. И глаза – серые, глубокие, воспаленные, с красными прожилками от недостатка сна. Он выглядел так, словно не спал все те три дня, пока она лежала без сознания. И словно прожил за эти дни целую маленькую жизнь, полную страха и неизвестности.

Одет он был в мятую серую рубашку с закатанными до локтей рукавами и темные джинсы. Воротник расстегнут, галстук отсутствовал, словно его сорвали в спешке и забыли о нем.

– Катя, – выдохнул он с порога, и голос его дрогнул.

Он шагнул в палату резко, порывисто, сделал два быстрых шага и вдруг остановился, словно налетел на невидимую стену. Катя видела, как его руки, протянутые было к ней, замерли в воздухе и медленно опустились. То ли он боялся причинить ей боль прикосновением, то ли что-то в ее лице остановило его порыв. Она и сама не знала, какое у нее сейчас выражение – наверное, растерянное, отчужденное, вовсе не такое, какого ждут от жены, которая три дня провела между жизнью и смертью.

– Катя, Господи, – повторил он тише, подходя к кровати уже медленнее, осторожнее. – Ты очнулась. Мне сказали, ты пришла в себя. Я боялся...

Он осекся. Встал у изножья кровати, вцепившись пальцами в металлическую спинку, и смотрел на нее с таким выражением, будто она – чудо, которое он боится спугнуть неловким движением. А она смотрела на него и ждала. Ждала хоть какого-то отблеска в своей пустой памяти, хоть искры, хоть тени. Она вглядывалась в это бледное, осунувшееся лицо, в серые глаза, в черную щетину, в морщинку меж бровей, прорезанную тревогой. Ничего. Гладкая стена.

– Мне сказали авария, – заговорил Григорий, все еще стоя у спинки кровати, не решаясь подойти ближе. – Я был на работе. Звонок. Сперва не понял даже, думал ошиблись номером. Сказали: «Ваша жена попала в ДТП, тяжелое состояние, реанимация». Я бросил трубку, потом перезвонил сам, думал – розыгрыш, какая-то чудовищная ошибка.

Он говорил, а слова лились из него сплошным потоком, будто он копил их все эти дни и теперь не мог остановиться. Катя слушала молча, не перебивая, лишь иногда кивая, показывая, что она его слушает.

– Я сразу сорвался, приехал сюда, а меня не пускают. В реанимацию нельзя. Я в коридоре сидел, как проклятый, – он нервно усмехнулся, потер ладонью затылок. – Под дверью на полу.

Медсестры меня гоняли, а я все равно возвращался. Потом Роман Ильич вышел, сказал – стабильно тяжелая, ждем. И я ждал. Три дня, Катя. Три дня. Я думал, с ума сойду.

Он замолчал на секунду, переводя дыхание. Катя видела, как дергается кадык на его шее, как он сжимает и разжимает пальцы на спинке кровати.

– Машенька... – вдруг произнес он, и голос его изменился, стал мягче, теплее. – Машенька у твоей мамы. Я не стал ее сюда везти, сама понимаешь, маленькая, восемь месяцев всего. Но она здорова, все хорошо. Спит плохо, правда. Чувствует, наверное.

Машенька. Имя упало куда-то глубоко, в ту самую пустоту, и отозвалось гулким эхом. Дочь. У нее есть дочь. Катя медленно подняла руку и прижала ладонь к губам. Дочь. Ее дочь. Крошечный человек, которого она носила под сердцем, рожала в муках, кормила грудью, укачивала ночами. И она не помнила ничего – ни лица, ни запаха, ни звука ее плача, ни ощущения маленького теплого тельца на руках. Ничего. Это было не просто страшно – это было чудовищно.

Григорий заметил ее движение и запнулся. Он нахмурился, вглядываясь в ее лицо внимательнее, и что-то в его взгляде изменилось. Тревога, которая до этого клубилась где-то на заднем плане, вышла на первый, заслонив собой облегчение и радость от встречи.

– Что с тобой, Катя? – спросил он медленно, делая шаг вдоль кровати, ближе к ее лицу. – Тебе плохо? Позвать врача? Ты бледная очень. И молчишь все время. Почему ты молчишь?

Она подняла на него глаза и поняла: он уже догадался. Не умом, нет, – чутьем, животным каким-то чутьем, которое улавливает малейший сбой в привычном порядке вещей. Она смотрела на него иначе, чем должна была смотреть жена, пережившая аварию и увидевшая мужа после долгой разлуки. В ее взгляде не было ни любви, ни слез облегчения, ни усталой нежности. Только смятение, вина и что-то похожее на страх.

– Григорий, – сказала она, впервые произнеся его имя, услышанное от медсестры. Имя было чужим на вкус, как слово на иностранном языке, которое повторяешь за учителем, не понимая смысла.

Услышав свое имя, он вздрогнул.

– Что? – спросил он глухо.

– Я должна тебе сказать, – она сглотнула, чувствуя, как пересохло в горле. – Доктор сказал, это называется ретроградная амнезия. Я ничего не помню. Совсем ничего.

Она увидела, как изменилось его лицо. Медленно, как при замедленной съемке, сползли с него все краски: удивление, надежда, облегчение. Осталось только серое, каменное, неподвижное выражение. Григорий молчал. Молчание длилось долго – может быть, минуту, а может, и больше. В палате было слышно только пиканье монитора и приглушенный шум из коридора.

Потом он тяжело выдохнул длинно, со свистом, выпуская воздух сквозь сжатые зубы, и потер подбородок ладонью. Жест был механический, усталый, словно он повторял его сотни раз.

– Хорошо... – сказал он наконец, и тут же поправился, мотнув головой: – Точнее, ничего хорошего. Я... понял.

Он замолчал снова, подыскивая слова. Катя видела, как он борется с собой – с тем первым, инстинктивным порывом, который, возможно, был криком или ругательством, или требованием объяснений. Видела, как он давит это в себе, загоняет поглубже, стискивая челюсти до белых желваков на скулах. Он смотрел на нее, но взгляд его был направлен не на нее, а куда-то внутрь себя, в тот самый темный чулан, где у каждого человека хранятся его страхи и разочарования.

– Эм... – он запнулся, прочистил горло. – Ты совсем меня не помнишь?

Глава 4. Блокнот

День выписки выдался пасмурным и ветреным. Небо над Москвой набухло серыми, сырыми облаками, обещавшими дождь, и в воздухе пахло приближающейся осенью, хотя до сентября оставалось еще несколько дней. Катя стояла у окна в больничном коридоре, уже одетая в принесенную мужем одежду – простые темные брюки, бежевый свитер крупной вязки, легкий плащ, – и смотрела, как ветер треплет верхушки лип, растущих вдоль больничного забора. Одежда сидела хорошо, по размеру, но ощущалась чужой, словно с чужого плеча. Впрочем, так теперь было со всем.

За эти дни она немного привыкла к своему положению. Не смирилась – именно привыкла, как привыкают к новому, неудобному протезу, который еще неизвестно, приживется ли. Она научилась отвечать на вопросы врачей, научилась не вздрагивать каждый раз, когда в палату входил Григорий, научилась поддерживать разговор, заполняя пустоты дежурными фразами. Но пустота внутри никуда не делась. Она пряталась там, за этими фразами, за вежливыми улыбками, за спокойным лицом, которое Катя научилась носить как маску.

Григорий приходил каждый день. Всегда с чем-нибудь: то с яблоками и грушами, то с прозрачным пакетиком мармеладок – она как-то обмолвилась, что любит сладкое, хотя сама не знала, правда ли это, просто слово сорвалось с языка, и он запомнил. Он сидел у ее постели час, иногда два, рассказывал о погоде, о пробках в Москве, о том, что на работе накопилось много дел, но начальник вошел в положение. Он говорил – она слушала. Иногда ей казалось, что он говорит не столько для нее, сколько для самого себя, чтобы заполнить тишину, которая висла между ними всякий раз, когда разговор затихал.

Она видела его напускное спокойствие – эту тщательно выстроенную стену из ровного голоса, сдержанных жестов, аккуратных вопросов о ее самочувствии. Но она видела и другое: как он сжимает челюсти, когда думает, что она не смотрит; как его пальцы, чистящие апельсин, вдруг замирают на полпути, а взгляд уходит в никуда, в какую-то мрачную, известную только ему одному глубину. В такие моменты он походил на закипающий чайник, плотно накрытый крышкой, – снаружи тихо, но внутри уже бурлит и требует выхода.

На тот его вопрос – «Ты совсем меня не помнишь?» – она ответила честно. Просто «нет». Одно короткое слово, которое обрушило все. Он тогда долго молчал, а потом кивнул – сухо, отрывисто, словно принимая условия игры, правил которой не понимал. И с тех пор они существовали в странном, мучительном равновесии: он делал вид, что все в порядке, она делала вид, что верит в это.

– Катерина, вы готовы?

Голос Варвары Сергеевны вывел ее из задумчивости. Медсестра стояла рядом с пухлым бумажным пакетом в руках – личные вещи, которые были при пациентке при поступлении.

– Да, – ответила Катя, отворачиваясь от окна. – Спасибо.

– Вот, держите. Все, что было при вас. Сумка, телефон. Телефон, правда, вдребезги, мы его в пакет отдельно положили, но сим-карту я вытащила, тоже здесь.

Катя приняла пакет, заглянула внутрь. Сверху лежала небольшая черная сумка через плечо – потерянная на уголках, но добротная, кожаная. Та самая сумка, с которой она попала в аварию. Она провела пальцами по шершавой поверхности, пытаясь уловить хоть какое-то узнавание, но кожа была просто кожей, сумка – просто сумкой.

– Спасибо, – повторила она.

В коридоре показался Григорий. Он шел быстрым шагом от регистратуры, размахивая какими-то бумагами – видимо, документами на выписку. Завидев Катю, он замедлил шаг и улыбнулся – устало, но искренне.

– Все, оформил. Свободны. Машина у крыльца. Идем?

Катя кивнула и, попрощавшись с Варварой Сергеевной, двинулась за мужем к выходу. Больничный коридор тянулся бесконечно, нес в себе запах медикаментов и хлорки, и она ловила себя на мысли, что этот запах уже стал почти родным – единственное, что она успела узнать и запомнить за эти дни. А теперь она уходила отсюда в большой, незнакомый мир, где ей предстояло заново узнать все: мужа, дочь, дом, работу, саму себя.

У крыльца стоял темно-синий седан. Григорий открыл перед ней пассажирскую дверь, и она забралась в салон, чувствуя, как ноют еще не до конца зажившие мышцы. Внутри пахло кожей, кофе и чем-то еще – возможно, тем самым ароматизатором, что покачивался на зеркале. Григорий сел за руль, захлопнул дверцу, и на мгновение они оказались в замкнутом, изолированном от всего мира пространстве. Катя заметила, как он медлит поворачивать ключ зажигания, словно что-то хочет сказать, но в итоге лишь мотнул головой и завел мотор.

Машина плавно выехала с больничной парковки. За окном поплыли серые московские улицы, мокрые от недавно прошедшего дождя. По стеклу время от времени пробегали капли, срываемые ветром с деревьев. Катя рассеянно смотрела на город, которого не узнавала, и сжимала в руках пакет со своими вещами.

«Там, внутри», – подумала она, опуская взгляд на сумку, – «ключи к моей жизни».

Она вытащила сумку из пакета и положила на колени. Сумка как сумка – таких тысячи. Но эта принадлежала ей. Той, прежней Кате, которая куда-то ехала тем утром, не зная, что случится через несколько минут.

– Ты чего? – спросил Григорий, бросив на нее короткий взгляд.

– Посмотрю, что там, – ответила она, расстегивая молнию. – Вдруг что-то важное.

– Ну смотри, – пожал он плечами и снова уставился на дорогу.

Первым, что попало под руку, оказалась косметичка – небольшая, простого черного цвета, без каких-либо украшений или логотипов. Катя расстегнула ее и высыпала содержимое на колени. Губная помада выкатилась первой – недорогая, в пластиковом футляре, оттенок «пыльная роза», спокойный и элегантный. За ней последовала разбитая пудра: крышка трес-

нула, и мелкие кусочки прессованного порошка посыпались на ткань брюк, неприятно коля пальцы, когда она пыталась их стряхнуть.

– Осторожнее, – заметил Григорий, покосившись на нее. – Она еще и в сумке, наверное, рассыпалась.

Катя провела пальцами по ткани, собирая крупинки пудры. Они были мелкими и острыми, как толченое стекло. «Словно осколки моей памяти», – мелькнуло в голове.

Следом из сумки показался кошелек – аккуратный, темно-бордовый, из мягкой кожи. Она открыла его и методично, одну за другой, перебрала карточки. Банковские – две штуки, разных банков. Дисконтная карта какой-то аптеки. Карта лояльности книжного магазина. И в боковом отделении – несколько купюр: тысяча, две пятисотки, мелочь.

– Это твоя привычка, – сказал Григорий, заметив, что она разглядывает наличные. – Всегда хранить немного налички. Даже здесь, в Москве, где все давно на карты перешли.

Катя кивнула, мысленно записывая это в свой внутренний блокнот. Привычка. Ее привычка. Значит, она ценила свободу и была предусмотрительной. Или недоверчивой. Или и то, и другое. Уже кое-что.

Григорий замолчал, сосредоточившись на дороге, а она продолжила свое исследование, чувствуя себя как первооткрыватель на неизведанном материке. Каждая вещь была артефактом, каждая мелочь – зацепкой. Влажные салфетки. Упаковка мятных леденцов. Просроченный чек из продуктового магазина – она пробежала его глазами: молоко, хлеб, яблоки, детское питание. Детское питание для Маши. Она отложила чек в сторону и полезла дальше.

И тут ее пальцы наткнулись на что-то небольшое, твердое, с чуть шершавой обложкой. Она вытащила находку на свет. Блокнот. Маленький, умещающийся в ладонь, в неброском сером переплете с резинкой-фиксатором. Такие продаются в любом канцелярском магазине, но этот явно был не новым – уголки обложки потерлись, корешок промялся, а на срезе страниц виднелись следы частого использования.

Катя стянула резинку и раскрыла блокнот. Страницы были исписаны аккуратным, убогим почерком. Даты, время, фамилии, короткие пометки. Она пробежала глазами последнюю запись:

«13:45 – Пироговы, нотариальное заверение копий, дело о наследовании».

Строчкой ниже:

«15:20 – Забрать заказ из химчистки».

Дальше, на предыдущей странице:

«3 апреля, 11:00 – Анна Чайкина, доверенность на распоряжение недвижимостью. Подготовить документы».

Дальше, пролистав еще несколько страниц:

«Игнатов В.С. – завещание (новая редакция, проверить предыдущую)».

«Семеновы, супруги – договор дарения, доля в квартире».

«26 марта, 14:00 – подготовить выписку из ЕГРН для Лебедевой».

Катя замерла, перечитывая свои собственные записи. Фамилии – Пироговы, Чайкина, Игнатов, Семеновы, Лебедева – ничего не говорили ей, были пустым звуком. Но слова «наследование», «доверенность», «завещание», «договор дарения», «выписка из ЕГРН» складывались в отчетливую картину. Юридические термины. Специфические, профессиональные. Она имела дело с документами, с чужими делами, с оформлением прав и обязательств.

«Нотариус», – вспомнила она вдруг слова, сказанные кем-то в больнице. – «Я нотариус».

Теперь это подтверждалось. Ее собственный блокнот раскрывал перед ней часть ее личности – ту, что была связана с работой, с ответственностью, с вниманием к деталям. Почерк был аккуратным, почти каллиграфическим, буквы стояли ровно, без наклона. Так пишет человек, привыкший к порядку и точности. Или человек, который заставляет себя быть таким, потому что профессия требует.

– Что там? – спросил Григорий, заметив, что она надолго замолчала.

– Блокнот, – ответила Катя, не отрывая глаз от страниц. – Мой рабочий блокнот. Встречи, дела. Какие-то фамилии.

– А, да, – кивнул он, и в его голосе прорезалась нотка, которую она не сразу смогла распознать. – Твой нотариальный ежедневник. Ты с ним не расставалась. Вечно записывала, планировала, перепроверяла. Говорила, что клиенты не любят, когда нотариус что-то забывает.

Он замолчал, но Катя уловила в его тоне что-то еще – напряжение, которое он не сумел до конца скрыть. Она вспомнила то, что он рассказывал ей раньше, в один из своих дневных визитов: о ее престижной работе, о высокой зарплате, о том, как она бывала занята сверх меры. И о том, как он сам работал в офисе, на обычной менеджерской должности, и как это неравенство когда-то царапало его изнутри.

Теперь, держа в руках этот маленький серый блокнот с чужими фамилиями и датами, она словно подержала в руках часть той, прежней жизни – части, которая, возможно, отдаляла ее от мужа. Или, наоборот, была единственным, что держало их вместе? Этого она пока не знала.

Она пролистнула блокнот до самого начала. Первая запись была датирована январем этого года. Дальше – февраль, март, страницы исписаны густо, почти без пробелов. В самом конце блокнота, на отдельной странице, она нашла короткий список без дат:

«Молоко, памперсы (размер 3), купить смесь».

И ниже, другим почерком – более крупным, с легким наклоном – приписка:

«Гриша – не забудь оплатить коммуналку до 15-го».

Катя подняла глаза от блокнота и посмотрела на мужа. Он вел машину, сосредоточенно глядя на дорогу, но желваки на его скулах играли – значит, заметил, что она замерла.

– Гриша, – тихо произнесла она.

– М? – он не обернулся.

– Тут твоим почерком записано. В моем блокноте. Про коммуналку.

Он хмыкнул, и на мгновение его лицо смягчилось.

– Ну да. Ты иногда просила что-то записать, если руки были заняты или ты за рулем. У нас так заведено было – общий блокнот на двоих. Вернее, твой блокнот, но я в него тоже иногда писал.

– Заведено было, – повторила Катя задумчиво.

Она закрыла блокнот, защелкнула резинку и убрала его обратно в сумку. За окном проплывали улицы, которые должны были быть знакомыми, но оставались чужими.

Глава 5. Дом

Квартира встретила их тишиной. Воздух стоял спертый, неподвижный, пахнувший пылью и едва уловимым ароматом чьих-то духов – возможно, ее собственных. Катя перешагнула порог и остановилась в прихожей, не зная, куда идти и что делать. Григорий вошел следом, поставил на пол ее больничный пакет и принялся разуваться, привычным движением сбрасывая ботинки на полку для обуви.

Прихожая была небольшой, но уютной: светлые обои, зеркало в полный рост, вешалка с несколькими пальто и куртками. Мужскими и женскими. Катя машинально отметила, что женских вещей больше – легкий тренч бежевого цвета, темно-синее полупальто, ветровка. Ее вещи. Она провела по рукаву тренча кончиками пальцев, но ткань ничего ей не сказала.

– Проходи, не стой на пороге, – сказал Григорий, выпрямляясь. Он говорил спокойно, но в этом спокойствии чувствовалась та же напускная легкость, что и в больнице, – слишком ровная, слишком старательная. – Я сейчас быстро, только сумку брошу и поеду за Машенькой. Мать твоя уже который день ее у себя держит, надо забирать скорее.

Катя кивнула и сделала несколько шагов вглубь прихожей. Квартира была двухкомнатной – она уже знала это с его слов. Гостиная, спальня, детская, кухня, ванная. Обычная московская квартира в панельном доме, не новая, но ухоженная. Григорий прошел мимо нее, заглянул в спальню, бросил туда свою сумку с вещами, что были у него с собой в больнице, и вернулся.

– Ты пока осмотришься, – предложил он, задержавшись у двери. – Все-таки твой дом. Может, что-то вспомнится. Чайник на кухне, заварка в шкафчике над плитой. Чашки слева от мойки. Я быстро вернусь, туда и обратно, часа полтора-два.

Он помолчал, словно что-то еще хотел добавить, но лишь коротко улыбнулся и вышел, плотно прикрыв за собой дверь.

В замке щелкнул язычок, и Катя осталась одна.

Она постояла еще несколько секунд в прихожей, прислушиваясь к тишине. Здесь, в этой квартире, она жила. Спала, ела, разговаривала, смеялась, плакала, кормила грудью дочь. Здесь проходила ее жизнь – целая, неведомая ей жизнь, – и теперь она стояла посреди этой жизни, словно незванный гость.

Катя медленно двинулась по коридору. Первой справа оказалась гостиная – просторная комната с большим окном, за которым хмурилось серое небо. Диван, обитый темно-серой тканью, журнальный столик со стопкой журналов, телевизор на стене, книжный стеллаж, заставленный книгами и какими-то мелкими безделушками. Она подошла к стеллажу, пробежала глазами по корешкам. Классика – Достоевский, Чехов, Булгаков, – рядом детективы в мягких обложках, несколько книг по юриспруденции, пара романов современной прозы. На одной из полок стояла маленькая фарфоровая статуэтка – балерина в пачке, замершая в арабеске. Катя взяла ее в руки, повертела и поставила обратно. Ничего.

Кухня оказалась небольшой, но обжитой: деревянный стол у окна, пара стульев, на одном из которых висела детская слюнявчик с вышитым утенком. На холодильнике магнитами были прикреплены стикеры с какими-то записями и пара фотографий. Катя приблизилась, всмотрелась. На одном снимке – Григорий держит на руках крошечного младенца, завернутого в белое кружевное одеяльце, и улыбается в камеру открытой, счастливой улыбкой. На другом – женщина, очень похожая на нее саму, с коротким каре и серо-зелеными глазами, держит у груди ту же малышку, но чуть постарше. «Это я», – подумала Катя, и от этой мысли стало не по себе. Она смотрела на собственное лицо и не узнавала его, словно разглядывала сестру-близнеца, о существовании которой не подозревала.

Ванная комната была чистой, аккуратной. На полочке у зеркала стояли два стаканчика с зубными щетками – розовая и синяя. Флакон женского шампуня, какой-то крем для лица, упаковка ватных дисков. Все говорило о том, что здесь живет женщина.

Спальня находилась в конце коридора. Катя толкнула дверь и остановилась на пороге. Комната была просторной, светлой, но с первого взгляда становилось ясно: ремонт здесь не закончен. Одна стена была оклеена новыми обоями – светло-бежевыми, с ненавязчивым растительным орнаментом, – а противоположная еще носила следы старого покрытия, местами ободранного, с пятнами шпаклевки. В углу стояла стремянка, а на подоконнике лежали валик и недопользованный рулон обоев. Но мебель уже была расставлена: двуспальная кровать, застеленная покрывалом глубокого синего цвета, шкаф-купе с зеркальными дверцами, туалетный столик с косметикой и женскими мелочами, торшер у изголовья. На прикроватной тумбочке лежала книга – закладка торчала примерно на середине. Катя взяла ее в руки, прочитала название: какой-то психологический роман, она таких не знала. Перевернула: на задней обложке значилось, что это бестселлер. Может, и правда читала.

На спинке стула висел мужской свитер – серый, крупной вязки, с высоким горлом. Она поднесла его к лицу, сама не зная зачем, и вдохнула запах. Слабый, почти выветрившийся аромат мужского дезодоранта и чего-то еще – возможно, самого Гриши. Запах не был неприятным, но и знакомым не был. Чужой, и все тут.

Она положила свитер обратно и вышла из спальни, чувствуя, как внутри нарастает глухое отчаяние. Дом был чужим. Все здесь было чужим. Каждая вещь, каждая деталь – молчаливый свидетель жизни, которую она не помнила.

Оставалась последняя комната.

Катя подошла к белой двери с наклеенной на нее забавной наклейкой – улыбающийся мультяшный жираф в желтом шарфике, – и замерла. Детская. Там, за этой дверью, обитала ее дочь. Восьмимесячная малышка, чье лицо она видела только на фотографиях.

Она осторожно нажала на ручку и вошла.

Комната была небольшой, но очень уютной. Светлые стены, на одной из которых красовался рисунок – дерево с пышной кроной из множества зеленых ладошек, явно нарисованное от руки. На полу лежал мягкий ковер глубокого зеленого цвета, напоминающего лесной мох. В углу, у окна, стоял белый манеж с опущенным бортиком, а в нем несколько игрушек: плюшевый заяц с длинными ушами, резиновое кольцо-прорезыватель, тряпичная кукла с волосами из ярко-желтых ниток.

Катя вошла и медленно опустилась на колени посреди ковра, не в силах больше стоять. Она огляделась, впитывая каждую деталь, каждый предмет. У стены стоял комод – тоже белый, с ящиками, в которых, вероятно, хранились крошечные боди, ползунки, чепчики. На комод, облокотившись на тонкую металлическую рамку, сидел плюшевый лев. Он был большим, почти с настоящего котенка размером, с густой песочной гривой и умными янтарными глазами-бусинами. Поза его была расслабленной, чуть развалившейся – так, словно он, уставший пассажир метро, прислонился к единственной опоре и ненадолго задремал.

Катя подошла ближе и взяла рамку, на которую опирался лев. За стеклом было не фото, а распечатка ультразвукового снимка. Черно-белое зернистое изображение, в котором с трудом угадывались очертания крошечного человечка. Эмбрион. Пятнадцать недель, если верить цифрам в углу снимка. Самая первая «фотосессия» ее дочери, еще до того, как та появилась на свет.

«Не могу вспомнить...» – с досадой подумала Катя, прижимая рамку к груди.

Она не помнила, как носила эту девочку под сердцем. Не помнила своих ощущений – ни первого шевеления, ни тяжести на поздних сроках, ни тревожного ожидания перед родами, ни самих родов. Не помнила, как впервые увидела дочь, как прижала ее к себе, как плакала, наверное, от счастья или боли, или от того и другого разом. Все это было у нее украдено. Отнято скользкой, мокрой дорогой и ударом металла. Но, думая об этом сейчас, стоя посреди детской с ультразвуковым снимком в руках, она поняла кое-что важное. Воспоминаний не было – но было это. Рамка. Плюшевый лев, опирающийся на нее так, словно охранял самое дорогое. Ковер, на котором ползала малышка. Манеж с игрушками. Все это появилось здесь потому, что она ждала этого ребенка, готовилась к нему, любила его.

И ради этого маленького человечка стоило не опускать руки.

Она осторожно поставила рамку обратно и поправила льва, чтобы тот сидел ровнее. Янтарные глаза блеснули в свете дня, словно зверь подмигнул ей. Катя слабо улыбнулась, провела пальцами по его плюшевой гриве и, вздохнув, направилась обратно в гостиную. Нужно было дожидаться Григория и дочь, и, пожалуй, стоило все-таки поставить чайник, как он советовал.

Она вошла в гостиную и остановилась как вкопанная.

На диване, посреди темно-серой обивки, развалился кот. Огромный, рыжевато-коричневый, с мощными лапами и роскошным пушистым хвостом, которым он лениво постукивал по диванной подушке. Уши с кисточками, как у рыси, массивная голова, тяжелый взгляд желтых, чуть раскосых глаз. Мейн-кун. Самый настоящий мейн-кун, размером с хорошую собаку.

Кот зевнул, продемонстрировав внушительный набор зубов, и уставился на Катю с выражением спокойного, почти царственного недоумения – так, словно это не он вторгся в ее пространство, а она нарушила его послеобеденный отдых.

– А ты откуда взялся? – пробормотала Катя, оглядываясь по сторонам.

Кот не удостоил ее ответом. Вместо этого он перевернулся на бок и вытянул лапы, показывая всем своим видом, что диван этот принадлежит ему если не по закону, то по праву сильного и пушистого.

Глава 6. Встреча

Несколько секунд Катя и кот мерили друг друга взглядами. Она стояла в дверях гостиной, все еще сжимая в пальцах невидимый след от плюшевой гривы, а он возлежал посреди дивана, занимая nepозволительно много места для одного животного. Хвост его, толстый и пушистый, как беличий, но только втрое больше, лениво взметнулся и снова опал на обивку.

– И кто ты такой? – спросила Катя вслух, делая осторожный шаг вперед.

Кот медленно моргнул с налетом величественности, словно давая понять, что вопрос этот праздный и ответ на него очевиден всякому, кто хоть что-то понимает в жизни. Затем он поднялся, выгнув спину, потянулся с протяжным, скрипучим мявом и прыгнул с дивана на пол. Звук от его приземления был глухим и весомым – так приземляется не кот, а небольшой, хорошо упитанный спаниель.

Он подошел к ней неторопливой походкой, поднял голову и уставился желтыми глазами. В ярком свете дня его шерсть отливала медью, а кисточки на ушах придавали ему сходство с каким-то древним, почти мифическим существом. Катя присела на корточки и протянула руку – не слишком близко, давая животному возможность решать самому. Кот понюхал ее пальцы, фыркнул и вдруг потерся о них широкой скуластой мордой. Жест был деловитым, хозяйским: «Да, я тебя знаю, ты здесь живешь, хотя пахнешь странно – больницей и чужими людьми».

– Ты мой, да? – прошептала Катя, поглаживая густой мех за ухом. – Наш, в смысле. Семейный.

Кот зажмурился, одобряя ее действия, и заурчал – низко, басовито, словно где-то в его недрах завелся маленький дизельный двигатель. Катя улыбнулась – кажется, впервые за все время после пробуждения. Кот не знал о ее амнезии. Коту было все равно, помнит она его или нет. Он просто был.

Она выпрямилась и снова оглядела гостиную, на этот раз замечая детали, которые ускользнули от нее раньше. В углу комнаты, рядом с батареей, стояла кошачья лежанка – круглая, из мягкого плюша песочного цвета, с высокими бортиками. На журнальном столике, аккуратно прислоненная к стопке журналов, лежала маленькая деревянная расческа с частыми зубьями и клочком рыжеватой шерсти между ними. А под стеллажом с книгами виднелась картонная коробка из-под обуви, высланная изнутри старым фланелевым пледом, – явно самодельное кошачье гнездо.

– Тебя здесь любят, – заметила Катя, обращаясь к коту.

Кот, судя по всему, был с этим утверждением полностью согласен. Он прошествовал обратно к дивану, вспрыгнул на него – мышцы под шерстью перекатились мощно, почти хищно, – и улегся точь-в-точь на то же место, где лежал прежде, словно оно было отмечено невидимым для человеческого глаза контуром.

Катя тем временем подошла к книжному стеллажу. В больнице Григорий обмолвился, что у них есть кот, но она пропустила это мимо ушей, слишком ошеломленная всем остальным.

Теперь же она пыталась найти хоть какую-то зацепку – кличку, ветеринарный паспорт, что угодно. На нижней полке стеллажа, между толстым томом «Гражданского кодекса» и потрепанным детективом, она заметила тонкую папку. Вытащила, раскрыла. Ветеринарный паспорт. На обложке значилось: «Габриэль. Мейн-кун, окрас красный мраморный». Ниже – дата рождения, из которой следовало, что коту три года и четыре месяца, и адрес клиники на соседней улице.

– Габриэль, – произнесла Катя вслух, пробуя имя на вкус.

Кот дернул ухом, но позы не изменил. Катя пролистнула паспорт. Прививки, отметки о ежегодных осмотрах, запись о кастрации. Все аккуратно, по графику. Она перевернула последнюю страницу и замерла: там, вложенная в прозрачный кармашек, лежала маленькая фотография. Катя – прежняя Катя, с коротким каре и смеющимися глазами, – держала на руках рыжего котенка с непропорционально огромными лапами и ушами-локаторами. Габриэль в младенчестве. Женщина на фото улыбалась так широко и беззаботно, что у нынешней Кати защемило в груди.

Она убрала паспорт обратно на полку и села на диван, рядом с котом. Габриэль не возражал. Он даже соизволил придвинуться ближе и положить тяжелую голову ей на колено. Катя запустила пальцы в его шерсть и задумалась.

«Меня зовут Екатерина. У меня есть муж Григорий, дочь Маша и кот по имени Габриэль. Я нотариус. Я живу в Москве, в двухкомнатной квартире с недоделанным ремонтом. У меня есть мать, которая последние дни сидела с моим ребенком. Я, кажется, любила сладкое. Я...»

Она сама не заметила, как начала проговаривать это вслух, перебирая факты, точно бусины на нитке. Кот слушал ее, полуприкрыв глаза, и его урчание служило ровным, успокаивающим аккомпанементом. Где-то за окном снова начал накрапывать дождь, капли застучали по жестяному подоконнику, и в этот момент Катя подумала, что все это – квартира, кот, ремонт, УЗИ-снимок, мужская куртка в шкафу, запах детского питания на кухне – все это было бы самым обыкновенным, самым заурядным счастьем, если бы она могла его вспомнить.

В замке загремел ключ.

Габриэль вскинул голову и наострил уши-кисточки. Катя вздрогнула и выпрямилась, машинально смахивая с колен рыжую шерсть. Входная дверь открылась, и в прихожей послышались шаги.

– Мы дома, – раздался голос Григория. Голос был усталым, но в нем прорезывалась та же осторожная бодрость, которую Катя слышала всякий раз, когда он пытался казаться оптимистичнее, чем был на самом деле. – Катя? Ты где?

– В гостиной, – отозвалась она, и голос ее дрогнул.

Она поднялась с дивана. Габриэль прыгнул следом и, задрвав хвост трубой, пошел встречать вновь прибывших. Катя же замерла в дверях гостиной, глядя в сторону прихожей. Сердце колотилось где-то в горле.

Григорий появился первым. В руках у него была детская переноска – громоздкая, похожая на люльку с ручкой, – которую он держал с особенной, выверенной осторожностью. На заднем сиденье переноски, пристегнутая ремнями, сидела она – Машенька. Ее дочь.

Катя сделала шаг вперед, потом еще один. Григорий поставил переноску на журнальный столик и расстегнул ремни. Малышка тут же завозилась, засучила ножками в крошечных вязаных пинетках и издала звук, который трудно было назвать плачем, – скорее недовольное, вопросительное гуканье, как будто она спрашивала: «Где это я? И почему меня не берут сразу на руки?».

– Ну, здравствуй, – прошептала Катя, наклоняясь перед переноской.

Она смотрела на дочь и не могла оторвать взгляд. Маша оказалась еще меньше, чем на фотографиях, – или, может быть, фотографии просто не передавали этой трогательной миниатюрности, этой круглой щекастости, этого пушка светлых, почти белых волос на макушке. Глаза смотрели на мир с внимательным, требовательным любопытством. На девочке был розовый слип с зайчиками, а к рукаву прилипла крошечная наклейка с бананом – след чьей-то попытки покормить ее фруктовым пюре.

Григорий стоял рядом, не произнося ни слова. Катя чувствовала его взгляд – тяжелый, вопросительный, полный надежды и страха одновременно. Она понимала, что он ждет. Ждет, что она заплачет от счастья, или бросится обнимать дочь, или скажет что-то такое, что скажет любая нормальная мать, вернувшаяся к ребенку после долгой разлуки. Но она не могла. Она все еще была чужой в этом доме, и эта маленькая девочка с банановой наклейкой на рукаве тоже была ей чужой – пока что чужой, – и от этого внутри все сжималось в тугий комок вины и горечи.

– Можно мне... – она запнулась. – Можно мне взять ее на руки?

– Она твоя дочь, – тихо ответил Григорий. – Конечно, можно.

Катя протянула руки. Пальцы дрожали. Она взялась за крошечное тельце – ух, какое же оно было теплое, гораздо теплее, чем она ожидала, и мягкое, и пахнущее молоком, детским шампунем. Машенька на мгновение замерла, уставилась на нее изучающим взглядом, а потом вдруг заулыбалась – беззубой, широкой, совершенно очаровательной улыбкой, от которой у Кати перехватило дыхание.

– Мама, – выдохнул Григорий едва слышно. – Она узнала тебя. Она помнит.

Катя прижала дочь к груди и закрыла глаза. Она не помнила эту девочку – но девочка помнила ее. Маша уткнулась носом в ее свитер, засопела и принялась тереть пальчиками край воротника – жест, должно быть, привычный, ритуальный, тот самый, каким она успокаивала себя на руках у матери. Катя не знала этого жеста, но тело, похоже, знало: руки сами собой легли правильно – одна под попу, другая поперек спинки, – сами собой начали покачивать малышку, сами собой загудели какую-то тихую, обрывочную мелодию без слов.

– Ты пела ей это, – сказал Григорий. – Когда укачивала. Я не знаю, что за мелодия, но ты всегда ее напеваешь. Напевала.

Катя открыла глаза и посмотрела на мужа. Он стоял, прислонившись к косяку, и лицо его было странным – на нем боролись сразу несколько чувств, и ни одно не побеждало. Радость, что дочь узнала мать. Тревога, что жена по-прежнему ничего не помнит.

– Это хороший знак, – сказала она, сама не зная, кого утешает – его или себя. – Правда?

– Правда, – подтвердил он.

В этот момент Габриэль, которому надоело оставаться в стороне, подошел к переноске, обнюхал ее и чихнул. Машенька, услышав знакомый звук, завопилась на руках у Кати, вытянула шейку и издала ликующий вопль – не то «ки-ки-ки», не то «гы-гы-гы». Кот, удовлетворившись осмотром, удалился обратно на диван.

– Кстати, – сказала Катя, все еще покачивая дочь, – я тут с твоим котом познакомилась. То есть с нашим. Габриэль.

– А, – Григорий махнул рукой. – Он сам по себе. Ты его Габиком зовешь обычно.

– Габик, – повторила она. – Хорошо.

Повисла пауза. Григорий потер подбородок – тот же самый жест, что и в больнице, усталый и немного беспомощный.

– Ты голодная, наверное, – сказал он. – Я куплю что-нибудь на ужин. Или можем заказать. Тут неподалеку есть пиццерия, ты ее раньше любила. Если, конечно...

Он не договорил, но Катя поняла. «Если, конечно, твои вкусы не изменились вместе с памятью».

– Давай пиццу, – согласилась она. – И чай. Я хотела чай, но тут появился кот.

Григорий кивнул и ушел на кухню – звонить в пиццерию, включать чайник, занимать себя привычными делами, чтобы не стоять столбом. А Катя осталась в гостиной. Она села на диван, все так же прижимая к себе дочь, и посмотрела в окно. Там, за мокрым стеклом, серые облака наконец разошлись, и в просвете между ними показался край бледного осеннего солнца. Луч упал на зеленый ковер, на рыжую шерсть кота, на русую макушку Машеньки – и та зажмурилась, довольно загукала.

«Это мой дом», – сказала себе Катя. – «Это моя дочь. Это мой кот. И этот человек на кухне – мой муж. Я не помню их, но они есть. И ради этого стоит жить».

Глава 7. Детская смесь

Врачи советовали Кате отдыхать. «Покой, свежий воздух, никаких стрессов, минимум нагрузок», – перечислил ей Роман Ильич перед выпиской, и она послушно кивала, хотя уже тогда, в больничной палате, подозревала, что выполнить эти рекомендации будет не так-то просто. Следующий осмотр у невролога назначили лишь через три недели – срок достаточный, чтобы восстановиться, но и достаточный, чтобы успеть провалиться в ту странную, подвешенную жизнь, которая образовалась у нее теперь. Времени в этом резко появившемся, незваном «отпуске» было много – непривычно, почти пугающе много для женщины, которая, судя по блокноту, привыкла расписывать свои дни по минутам.

В первые дни после возвращения домой она пыталась занять себя чем-нибудь. Можно было бы, наверное, смотреть сериалы – Григорий показал ей, как включать телевизор. Но сосредоточиться на экране не получалось: сюжеты казались надуманными, лица актеров – картонными, а диалоги – фальшивыми. Ей все время хотелось вскочить, куда-то идти, что-то делать, но что именно – она не знала.

Выходить на улицу одной она боялась. Город за окном оставался чужим, огромным, равнодушным лабиринтом, в котором она не помнила ни одного маршрута. Гриша, уходя на работу, всякий раз напоминал ей адрес – записал его на стикере и приклеил к холодильнику, – но толку от этого было мало. Куда идти? Зачем? Она не помнила, где ближайший магазин, где аптека, где парк, в котором она, возможно, гуляла с коляской. Поэтому она сидела дома.

Каждое утро начиналось с плача – пронзительного, требовательного, ввинчивающегося в самый мозг, – и этот звук действовал на Катю одновременно и как будильник, и как удар током. Она просыпалась мгновенно, вскидывалась на постели и несколько секунд сидела в темноте, приходя в себя и вспоминая, где находится и кто она такая. Потом нащупывала ногами тапочки и шла в детскую. Григорий часто опережал ее – он вообще спал в последнее время плохо, просыпался от любого шороха, – и тогда из-за двери детской доносился его низкий, хриплый от сна голос, напевающий что-то без слов.

Утро шестого дня после выписки началось точно так же. Плач. Темнота за окном – рассвет еще только брезжил, серый и нерешительный. Шлепанье тапочек по коридору. И голос Григория, на этот раз не напевающий, а бормочущий что-то быстро и нервно.

Катя вошла в детскую и остановилась у порога. Григорий стоял у пеленального столика, прижимая Машу одной рукой к плечу, а другой пытался одновременно держать мобильный телефон и насыпать ложкой детскую смесь в бутылочку. Телефон он зажал между ухом и плечом, неестественно скособочив шею, и от этого его голос звучал напряженно, почти агрессивно:

– Нет, Сергей, я же сказал – отчет в четверг, не раньше... Нет, ты послушай меня!.. Да подожди ты!

Машенька надрывалась. Личико ее покраснело, крошечные кулачки сжимались и разжимались, а плач переходил в самые захлебывающиеся, обиженные всхлипы, от которых у любого родителя сжимается сердце. Григорий качал ее, но механически, слишком быстро, слишком нервно – так, что успокоения это не приносило ни ему, ни ребенку.

– Да погоди ты, Сереж! – рявкнул он в трубку и потянулся за мерной ложкой.

В этот момент и случилось то, что должно было случиться. Телефон, зажатый между ухом и плечом, выскользнул – Григорий дернулся, попытался поймать его свободной рукой, но промахнулся. Мобильник, описав короткую дугу, плюхнулся прямо в открытую банку с сухой молочной смесью. В воздух взметнулось белое облачко, осевшее мелкой пудрой на столешнице, на манжетах рубашки Григория и на его брюках.

– Черт! – выдохнул он, выхватывая телефон из белого плена.

Смесь налипла на экран, забила в разъем зарядки, припорошила чехол. Григорий лихо-радочно принялся сдувать ее, вытирать о штанину, проверять, работает ли. Экран загорелся – работает. Из динамика все еще доносился далекий, комариный голос Сергея: «Гриш, ты чего? Гриш! Алло!» – но Григорий уже не слушал. Он смотрел на испорченную смесь, на орущую дочь, на свои белые от порошка брюки, и лицо его медленно наливалось той самой краской, которую Катя уже научилась распознавать: глухое, темное раздражение, долго сдерживаемое и наконец нашедшее выход.

Он поднял глаза и увидел Катю. Она стояла в дверях, все еще в пижаме, и молча смотрела на него. Не осуждающе – скорее испуганно, растерянно, как человек, который хотел бы помочь, но не знает, как.

– Катя! – голос его прозвучал резко, почти зло. – Ты почему не проснулась раньше? Я тут уже битый час один верчусь, а ты спишь! Я ведь и так опаздываю, у меня совещание в девять, Сергей на телефоне висит, Машка орет, а ты просто стоишь и смотришь, как я тут...

Он осекся.

В комнате повисла звенящая тишина – только Машенька продолжала хныкать, но и та как будто притихла, почувствовав перемену в голосе отца. Григорий замер с телефоном в одной руке и банкой смеси в другой. Лицо его из багрового стало бледным – серым, как то небо за окном. Он смотрел на Катю, и в его взгляде мелькнуло что-то похожее на ужас: ужас перед самим собой, перед тем, что он только что сказал, и перед тем, что он вообще способен на такое.

Катя молчала. Она смотрела на него, и внутри нее происходило что-то странное. Ей не было обидно – или, может быть, было, но не так, как он, наверное, ожидал. Не так, как бывает, когда близкий человек ранит тебя несправедливым упреком. Скорее ей было горько за него. За этого высокого, усталого, измотанного мужчину, который три дня спал под дверью реанимации, который приносил ей в больницу мармеладки, который засунул поглубже все свои обиды и претензии, но так и не сумел их похоронить. И теперь они вылезли наружу – уродливые, белые, как грибок на стене души, который не замажешь краской, сколько ни старайся.

– Извини, – сказала она тихо. – Прости. Я... прости. Я услышала плач и пришла. Я не знала, что ты уже встал.

Григорий зажмурился, выдохнул сквозь сжатые зубы и медленно опустил телефон на столик. Потом взял полотенце, висевшее на спинке стула, и принялся молча вытирать руки от белого порошка. Движения его были резкими, угловатыми.

– Это ты прости, – произнес он наконец, не поднимая глаз. – Я не должен был... Ты болеешь. Тебе нельзя волноваться. А я... Черт.

Маша снова заплакала, на этот раз громче, настойчивее, требуя еды. Григорий вздохнул, оглядел поле боя – рассыпанную смесь, упавшую мерную ложку, надрывающийся телефон, – и пожал плечами. Вид у него был потерянный, почти жалкий.

– Я опаздываю, – повторил он уже тише, словно оправдываясь не перед Катей, а перед самим собой. – Правда опаздываю.

– Иди, – сказала Катя, подходя ближе и осторожно, почти робко протягивая руки к дочери. – Я справлюсь. Дай ее сюда. Иди на работу, я сама все сделаю.

Григорий колебался лишь мгновение. Потом бережно, почти благоговейно передал ей орущий сверток и на секунду задержал ладони поверх ее рук – словно хотел что-то добавить, что-то сказать, но слова не шли. Тогда он просто кивнул, схватил со столика перепачканный телефон и выскочил из детской.

Через минуту хлопнула входная дверь. Катя осталась одна с плачущей дочерью, рассыпанной смесью.

Глава 8. Уборка

Тишина, наступившая после хлопка входной двери, была почти оглушительной. Катя стояла посреди детской, прижимая к себе орущую Машу, и чувствовала, как в груди разрастается холодный, липкий ком беспомощности. Где-то там, за окнами, Григорий уже садился в машину, уже поворачивал ключ зажигания, уже выезжал со двора. А она осталась. Одна. С ребенком. С банкой испорченной смеси. С горьким осадком от утренней сцены.

– Ну, давай, – прошептала она, глядя в красное, заплаканное личико дочери. – Давай справляться. Ты и я.

Машенька ответила новым, особенно пронзительным воплем.

Последующие несколько часов Катя вспоминала потом урывками – как вспоминают сон, слишком сумбурный, чтобы пересказать его связно. Сперва была битва за бутылочку. Она нашла в кухонном шкафу новую банку смеси, но руки дрожали, и мерная ложка дважды соскальзывала, просыпая белый порошок на столешницу. Потом она никак не могла понять, сколько нужно подогревать воду: в микроволновке бутылочка нагрелась слишком сильно, пришлось остужать под краном, а Машенька тем временем надрывалась так, что у Кати звенело в ушах. Потом, когда смесь наконец была готова, дочь отказалась есть – вертела головой, выплевывала соску и заходила новым плачем, и Катя чуть не плакала вместе с ней, пока не сообразила, что девочке, вероятно, нужно сменить подгузник.

С подгузниками тоже вышло неловко. Она нашла упаковку в ящике комода, но первый надела задом наперед – липучки оказались сзади, и конструкция немедленно развалилась. Второй сел лучше, хотя и кривовато. Машенька к тому моменту уже устала плакать и лишь тихо, жалобно хныкала, глядя на Катю мокрыми глазами. В этом взгляде читался немой укор: «Мама, ну что же ты такая неумелая?»

– Я учусь, – сказала ей Катя серьезно. – Понимаешь? Я учусь быть твоей мамой. Дай мне немного времени.

Маша, разумеется, не ответила. Она зевнула, смешно сморщив носик, и вдруг затихла. Глаза ее медленно закрылись, ресницы легли на щеки, и через минуту она уже спала, посапывая во сне. Катя осторожно, стараясь не потревожить, переложила ее в манеж и замерла, боясь дышать. Несколько секунд ничего не происходило. Потом еще несколько. Машенька спала.

Катя выпрямилась и оглядела себя. Пижамная кофта была в пятнах от молочной смеси, на плече красовалось мокрое пятно от детских слез, волосы сбились в колтун, а под глазами, она была уверена, залегли темные круги. Она чувствовала себя так, словно пробежала марафон, к которому совершенно не готовилась.

Катя вышла из детской, аккуратно притворив за собой дверь, и направилась на кухню. То, что она там увидела, заставило ее остановиться на пороге. Кухня напоминала поле боевых действий. Белая пудра смеси покрывала столешницу, плиту и даже часть пола – там, куда она просыпалась во время готовки. В раковине громоздилась грязная посуда: бутылочки, миски, чашки, ложки, – кажется, Григорий не мыл ее со вчерашнего вечера. На столе сиротливо сто-

яла открытая банка с испорченной смесью, из которой все еще торчал край забытой Григорием мерной ложки. Рядом валялся пустой пакет из-под хлеба, крошки на разделочной доске, кружка с засохшей кофейной гущей на дне. И над всем этим, на спинке стула, висело полотенце, перепачканное белым.

Она вздохнула.

– Ну и ну, – пробормотала Катя, оглядывая этот хаос. – И это только начало дня.

Где-то в глубине души шевельнулось раздражение. Почему Гриша не убрал за собой? Почему она должна расхлебывать последствия его утренней истерики? Но раздражение почти сразу угасло, сменившись усталым пониманием. Он уехал на работу. У него совещание. А она весь день дома. И, положив руку на сердце, ей все равно нечем заняться, кроме как пытаться вспомнить собственную жизнь. Уборка, по крайней мере, была делом конкретным, осязаемым, с понятным и достижимым результатом.

– Ладно, – сказала она вслух. – Приступим.

Она начала с самого простого – собрала грязную посуду и загрузила ее в посудомоечную машину, которую, к счастью, обнаружила под столешницей еще в первый день. Машина отозвалась тихим гулом, и Катя на мгновение прикрыла глаза, наслаждаясь этим звуком: кто-то другой, пусть и механический, делал за нее часть работы. Затем она взялась за столешницу. Смела сухой тряпкой белую пыль, смыла влажной губкой липкие разводы, протерла плиту, варочную панель, ручки шкафчиков. Движения были механическими, почти медитативными, и постепенно она поймала себя на мысли, что ей это нравится. Оттирать пятна. Удалять следы хаоса. Возвращать вещам их первоначальный, чистый вид. В больнице у нее не было такой возможности – там она была пациентом, пассивным объектом заботы. Здесь, на кухне, она действовала. Она меняла реальность вокруг себя.

Под раковиной, в шкафчике с бытовой химией, она нашла все необходимое: чистящие средства, губки, перчатки, даже бутылочку с надписью «для детских принадлежностей». Одна из бутылочек стояла чуть на отшибе, и, потянувшись за ней, Катя заметила за ней сложенный вдвое листок бумаги. Машинально вытасила, развернула. Это оказался рецепт – написанный от руки, тем самым аккуратным, чуть старомодным почерком, который она уже видела в своем блокноте. «Запеканка творожная: творог 500 г, яйца 3 шт, манка 4 ст. л, сахар по вкусу, изюм. Перемешать, в духовку на 40 мин при 180°». Ниже была приписка, сделанная другими чернилами, явно позже: «Гриша любит с вишней». И в самом низу, совсем мелко: «Катя, не забудь купить творог!!!»

Три восклицательных знака. Она улыбнулась, сама того не заметив. Прежняя Катя писала рецепты и оставляла себе напоминания. Прежняя Катя знала, что муж любит творожную запеканку с вишней. Это было так обыденно, так трогательно и так далеко от нее нынешней, что на мгновение защипало в носу. Она аккуратно сложила рецепт, сунула его в карман домашних брюк и продолжила уборку.

Время текло незаметно. Вымыв кухню, она перешла в гостиную: собрала разбросанные журналы, вытерла пыль с книжного стеллажа, поправила плюшевого льва на комод. Потом был коридор, ванная, туалет. Двигаясь от комнаты к комнате, она находила все новые и новые следы прежней жизни – словно археолог, осторожно снимающий слой за слоем. В ящике ван-

ной, среди шампуней и гелей, лежала ее старая расческа с запутавшимися в зубьях светлыми волосами. На зеркале в прихожей висела связка ключей с брелоком в виде Эйфелевой башни – она была в Париже? Или просто мечтала? В кармане плаща, висевшего на вешалке, нашлась засохшая веточка лаванды. В кухонном ящике, под стопкой салфеток, – пара старых билетов в кино. Она разглядывала их, пытаясь вспомнить хоть что-то о том вечере, но тщетно.

Закончив с гостиной, Катя выпрямилась и оглядела свою работу. В комнате стало заметно чище и как-то легче, словно вместе с пылью она смела часть той давящей тишины, что стояла здесь с ее возвращения. Солнце за окном поднялось выше, пробилось сквозь облака и теперь заливало комнату мягким, рассеянным светом. Она подошла к окну и выглянула во двор. Детская площадка, лавочки, несколько машин на парковке. Там, снаружи, текла обычная жизнь: мама с коляской, старик с таксой на поводке, двое мальчишек с ранцами наперевес. Жизнь, которую она когда-то знала и в которую ей теперь предстояло вернуться – шаг за шагом, день за днем.

Из детской донесся тихий звук – не плач, а так, сонное гуканье. Катя замерла, прислушалась, но Машенька снова затихла. Можно было выдохнуть.

Она вернулась на кухню, чтобы заварить себе чай – тот самый, который обещала себе еще утром. Чайник тихо зашумел, нагреваясь, а Катя оперлась на столешницу и закрыла глаза. Усталость накатила волной – не только физическая, но и душевная, глубинная, та, что копилась все эти дни. Она думала о Григории, о его утреннем срыве, о том, как он замер с побледневшим лицом, осознав, что только что накричал на больную жену. Она не злилась на него – странно, но не злилась. Скорее, ей было жаль их обоих. Его – потому что он явно не справлялся с грузом, который на себя взвалил. Себя – потому что она не могла разделить с ним этот груз, не могла стать той прежней Катей, которая, наверное, знала, как успокоить и мужа, и дочь, и саму себя.

Чайник закипел и отключился. Катя открыла шкафчик, достала чашку – белую, с нарисованным на боку рыжим котом и заварила себе чай. Потом села за кухонный стол, впервые за все утро, и позволила себе просто посидеть. Тишина была полной, если не считать далекого урчания холодильника и приглушенного шума посудомоечной машины. В этой тишине она вдруг ясно, почти физически ощутила: она справилась. Она провела утро одна с ребенком, и ребенок сыт, и ребенок спит, и квартира чиста, и на плите стоит горячий чайник. Это было немного – но для нее это была победа. Первая ее победа в новой, незнакомой жизни.

Она обхватила чашку ладонями и сделала глоток. Чай был горячим и сладким. Сладким – потому что она, не задумываясь, бросила в него две ложки сахара, и только потом осознала, что даже не сомневалась в том, сколько класть. Тело помнило то, чего не помнило сознание: как держать ребенка, как замешивать смесь, как наводить порядок, как подсластить чай. Может быть, не все еще потеряно. Может быть, память не только в голове – она в руках, в пальцах, в привычках, которые не вытравишь никакой аварией.

Из коридора донесся тяжелый, мягкий топот, и на кухню вошел Габриэль. Он уселся посреди пола, обвил лапы пушистым хвостом и уставился на Катю требовательным взглядом.

– И ты туда же, – вздохнула она, поднимаясь. – Ладно, кормилец, пойдем искать твою миску.

Глава 9. Эклеры

Катя услышала знакомый скрежет, потом шаги в прихожей – на этот раз не нервные, не торопливые, а какие-то осторожные, почти виноватые. Габриэль спрыгнул с ее колен и потрусил встречать хозяина. Она же осталась сидеть, выпрямив спину и сама не зная, чего ожидать. Утренняя сцена еще стояла между ними – не то чтобы стеной, но тонкой, прозрачной перегородкой, сквозь которую оба видели друг друга, но не решались заговорить.

Григорий вошел в гостиную и в руках у него была коробка. Белая, перевязанная простой бечевкой, из тех, что выдают в маленьких кондитерских. Он замер в дверях, переминаясь с ноги на ногу, и вид у него был до того смущенный, что Катя, сама того не ожидая, почувствовала, как внутри теплеет.

– Это тебе, – сказал он глуховато и протянул коробку. – Эклеры. Из той кондитерской на углу, которую ты любила. Ты мне как-то говорила... вернее, раньше говорила... что у них самый правильный заварной крем. Я не знаю, любишь ли ты их теперь, но... вот.

Она приняла коробку, поставила на колени и осторожно приоткрыла крышку. Внутри, в бумажных гнездах, лежали четыре эклера – пухлые, глянцевые, покрытые шоколадной глазурью, которая чуть потрескалась по краям. Пахло ванилью и свежей выпечкой, и этот запах был таким уютным, таким домашним, что у Кати вдруг защемило в горле.

– Спасибо, – сказала она, поднимая глаза на мужа.

– Подожди, – он поднял руку, останавливая ее. – Я еще не все.

Он шагнул ближе и остановился у дивана, глядя на нее сверху вниз. Лицо его было серьезным, даже торжественным, и только пальцы нервно теребили край рубашки.

– Катя, я... за сегодня. За утро. Я не должен был на тебя срываться. Я был зол, я не выспался, меня дергал Серега с этим дурацким отчетом, но это не оправдание. Ты болеешь, тебе нужен покой, а я... – он запнулся, подбирая слова. – Я просто... Черт. Я не знаю, как сказать.

– Скажи как есть, – тихо предложила она.

Григорий выдохнул и опустил на корточки перед диваном – так, что его лицо оказалось почти вровень с ее. В серых глазах, все еще воспаленных и усталых, читалась такая искренняя мука, что Кате захотелось протянуть руку и погладить его по щеке. Она сдержалась – не потому что не хотела, а потому что все еще не знала, имеет ли право.

– Я прошу прощения, – сказал он медленно, четко, словно приносил присягу. – За то, что сорвался на тебя. За то, что накричал. Ты не заслужила этого. Ты вообще никогда не заслуживала того, что я иногда... – он замолчал и потер подбородок. – В общем, я обещаю: такое больше не повторится. Я буду стараться. Из всех сил. Ты мне веришь?

Катя смотрела на него и не знала, что ответить. Она не помнила прежнего Григория. Она не знала, сколько раз он давал такие обещания раньше и выполнял ли их. Но сейчас, в этот вечер, он стоял перед ней на коленях с коробкой эклеров и раскаивался так откровенно, так по-мальчишески беззащитно, что ей стало неловко – не за него, а за саму себя, за то, что она, возможно, все еще держала его на расстоянии, сама того не осознавая.

– Я верю, – сказала она наконец. – Правда, верю.

И она действительно поверила. Может быть, потому что очень хотела верить. Может быть, потому что в этом чужом, незнакомом мире, где у нее не было ничего, кроме имени, Григорий был единственным, кто знал ее – настоящую, прежнюю – и все еще был рядом.

Она вдруг почувствовала, что между ними возникла странная, непривычная неловкость. Словно они оба извинялись друг перед другом – он за утро, она за то, что не помнит его, – и никто не знал, что делать дальше.

– Знаешь что, – сказала она, поднимаясь с дивана. – Давай попьем чай. С этими твоими эклерами. Я как раз хотела чай.

– Уже «твоими»? – хмыкнул он, и в уголках его губ мелькнуло облегчение. – А минуту назад они были общие.

– Вот и проверим, общие или нет. Ты мне еще не рассказал, какой у тебя любимый.

– С заварным кремом, – сразу отозвался он, поднимаясь с колен. – Это который без глазури, с белой сахарной пудрой. Ты всегда надо мной смеялась – говорила, что я единственный человек на свете, который из всех эклеров выбирает самый скучный.

– А я какой любила? – спросила она, направляясь на кухню.

– Шоколадный. Обязательно с глазурью и чтобы орехов сверху побольше.

Катя запомнила это – еще один факт о себе, крошечный, но осязаемый. Она поставила чайник, расставила чашки и переложила эклеры на плоскую тарелку. Григорий тем временем снял пиджак, повесил его на спинку стула и сел за кухонный стол, наблюдая за ней. В его взгляде было что-то новое: не напряжение, не тревога, а спокойное, почти удивленное восхищение, словно он впервые видел ее на кухне.

– Ты убралась, – заметил он, оглядывая чистые столешницы и блестящую плиту. – Я думал, приду, а тут филиал сумасшедшего дома.

– Я справилась, – сказала она просто. – Машка спала, я решила, что надо чем-то занять руки. И вообще... мне понравилось.

– Ты всегда любила порядок, – кивнул он. – Это у тебя профессиональное, наверное. И личное. Ты говорила, что когда вокруг все чисто и по местам, то и в голове чисто.

– Правильно говорила, – согласилась Катя, разливая чай.

Они сели за стол. Чайник тихо посапывал, остывая, за окном сгушались сумерки, а между ними двумя воцарилась та особенная тишина, которая бывает не напряженной, а уютной – как пауза в долгом разговоре, когда обоим не нужно ничего говорить.

Катя выбрала шоколадный эклер и надкусила его. Заварной крем был холодным, нежным и действительно очень вкусным – она поняла это, хотя не помнила, с чем сравнивать.

– Ну как? – спросил Григорий с надеждой.

– Вкусно. Очень.

Он просиял и вгрызся в свой «скучный» эклер с сахарной пудрой. Пудра осыпалась ему на рубашку, но он даже не заметил.

– Знаешь, – начал он, прожевав и запив чаем, – я пока домой ехал, все думал. О нас. О том, какими мы были раньше.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.